

*И чтоб невежей не казаться,
Он неуместным счел вопрос
И ни словца не произнес.*

Кретьен де Труа. «Персеваль, или Повесть о Граале»¹

I. ДОРОГА НА СЕВЕРО-ЗАПАД

*Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтоб
облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить.*

В. Ерофеев. «Москва — Петушки»

1

Сева сложно устроен. Где-то в нижнем углу большой залы внутри его головы невидимый граммофон урчит песню:

АИИ-гаварЯт-им-нельЗЯ-ри-ска-вАть,
ПотомУ-что-у-нИх-есть-дОм,
В дОме-го-рИт свЕ-е-ет.

А возле окна этой залы неподвижно стоит юноша, глядящий в окно. Прямо перед его глазами широко течет Дон. Молодой человек думает о том, что случается с тем, кто однажды начинает петь и более не останавливается. О том, что это за почва, в которой песня созревает. К блаженству и покою ли этот путь — или песня уводит от них навсегда? Как она находит того, кого можно выхватить из рядов? Куда она отправляет своего героя? Вернет ли своим или — неузнаваемым чужим, пропащим?

И-Я-не-знА-ю-тОчно-кТо-из-нас-прАв.
МенЯ-ждет-на-У-ли-це-дОждь,
Их-ждет-дОма-А-бед.

В этой песне Сева любил только первый куплет — его спокойный драматизм. В нужном месте Сева явственно слышит гитарный проигрыш. На самом деле он сейчас вышел из общежития на улице Зорге в Ростове-на-Дону и напевал, оставляя за спиной эту монструозную типовую образину:

Закрой за мной дВЕ-ерь — я-У-хо-жу. Па-пА-ра-пам.
Закрой за мной дВЕ-ерь — я-У-хо-жу.

Во втором куплете появится какое-то странное, непонятное «мы». Цой, наверное, знал, о чем речь.

До Цоя вообще не было никаких песен. Просто потому, что кто-то всегда приходит первым в мир немоты. Остальная мировая культура была потом.

Сева не сосредотачивался, не пытался спеть похожим голосом — пел, не придавая действию значения. Однако

не мычал про себя, а именно что пел — прямо посреди города. В городе можно идти по тротуару и петь чуть не во весь голос, не опасаясь, что кто-либо тебя услышит. Никто не услышит. Как выражаются строители, воздушная подушка в стене лучше всего сохраняет тепло и оберегает от звуков извне. Сева шел, со всех сторон окруженный толстой и почти непроницаемой воздушной подушкой.

Заканчивался июнь 1999 года, начинался трудный понедельник, было восемь утра — не для песен время. И Сева Калабухов старался не забываться: пел — будто жвачку жевал. А когда вошел в автобус на привычной остановке около студенческого городка и взялся за влажный поручень, так и вовсе — исчез.

Ощущение невидимки приходило, стоило остановиться, замолчать. Оно накапливалось в организме, как гормон, который в какой-то момент запускает неконтролируемые процессы внутренних перемен. Всеволод последние два года в некотором смысле тренировал ощущение полного растворения в массе большого города. Оно ему было любопытно. Людям все надо разжевывать лицом, а лучше потом еще и объяснить. Красив ты или нет — это второстепенно. Даже в красивом лице лень читать, вот в чем беда. Глаза, способные отражать душу, тупеют от собственной неостребованности. А если твое лицо надо всякий раз будто собирать заново из отдельных черт, то его лучше назвать непримечательным. Особенно если некому собрать твой портрет. И ты отсутствуешь. А генератор внутреннего мира работает. И опыт исчезновения из внешнего оказывается неожиданно глубоким и разнообразным.

Слава богу, нет давки. Сева разместился на центральной площадке по ходу движения, уложив спину в изгиб поручня — так он мог одинаково естественно смотреть в окно и блуждать взглядом по салону. Ни одного ребенка. Рабочий класс едет из Западного спального района Ростова-на-Дону начинать жаркий день. Жара уже набирает силу. Сева потянулся и отодвинул стекло — ветерок полетел в лицо. Повернул голову и увидел здорового мужика с заячьей губой — он держался за поручень и обливался потом, ему было тяжело существовать. Остальные выглядели, как каталог удобных для отключки поз. А этот — стоит и работает. Вот еще не старая суховатая женщина, постарушечьи закусившая нижнюю губу. Она как будто уже зажала губами свое бремя — и едет, не поднимая глаз. Мужчина рядом с нею щурится и чуть улыбается — так, как

будто ему в лицо дует ветер и он слушает собеседника, — но ни собеседника, ни ветра нет, а лицо — застыло. Как будто он забыл это выражение на своем лице — и некому напомнить. Люди выглядят брошенными, застигнутыми неожиданным взглядом кто в чем, кто с чем на лице. Их выражениям не на кого опереться. Во всяком случае сейчас, пока они только едут туда, где будут сегодня жить.

Автобус медленно катился по почти пустому проспекту Стачки. На площади Тружеников вошла девушка. Сева подумал, что небо послало в центр его утренней картины мира главную героиню. Она встала у окна так, что он видел ее профиль. Она тут же повернулась на его взгляд и отвернулась к окну вновь. Ей будто некуда было девать большие темно-синие глаза. Они отовсюду видны, на что их ни наведи. А то, на что они смотрят, тут же начинает тянуться к их свету. Сева уже глядит на нее не один. Что уж тут поделаешь. Ее не достающие до плеч волосы с одной стороны заправлены за ухо. За одну только форму уха она достойна титула герцогини, которую полагается беззаветно и безнадежно любить. Есть ли кому любить тебя, девочка? На ее коже не видно ни одной родинки, на ней совсем нет загара. Крылья тонкого носа подрагивают, как у немного испуганного животного. Да, подумал Сева, это было и в ее быстром взгляде: убегающая, ускользающая от прямых лучей красота. Даже в профиль видно, что ее зрачки ни секунды не останавливаются на одной точке. Она чувствует, что он смотрит: ее взгляд постоянно будто отскакивает в его сторону, но — недолетает, и она уже как будто сердится, ощущая давление.

Сева тоже посмотрел в окно. Автобус ехал по мосту над железнодорожными путями. Отпустил ее — этого совсем чужого, но вдруг совершенно понятного человека. Она понятна, потому что красива, или красива, потому что понятна? Хороший вопрос, надо запомнить. Дверь открылась, и Всеволод вышел. Все опасно, куда ни глянь. Все заставляет присматриваться. А присмотришься — и не можешь оторваться. Присмотришься — и уже в ответе.

До университета нужно было ехать с пересадкой, дорога занимала до сорока доведенных до автоматизма минут. Одни маршруты доставляли жителей спальных районов в центр, другие — развозили по нему. Сева проделывал этот путь каждый будний день вот уже два года. Сейчас он сошел на Братском и вместе с вереницей попутчиков быстро пошел к Большой Садовой — главной городской артерии.

За той девушкой, наверное, и теперь, когда я вышел, кто-то наблюдает, подумалось ему. Она просто не может быть невидимкой — и поэтому как будто мечется на свету. От собственной красоты ей не скрыться, не слиться с роем, ее всегда обнаружат, в нее вглядятся, побеспокоят, тронут, попытаются присвоить. Хотел бы я вот сейчас вдруг выйти из мрака и предстать перед всеми в сиянии красоты? Нет, красота, это, конечно, не для мужчин. Мы чудовища, которым приносят жертвы.

Нет, тут что-то недодумано. Это не все, что нужно сказать о красоте. Может быть, эта девушка была, скажем так, не особенно красивой? Пускай на нее пялились — мужики на всех пялятся, особенно летом, когда — платица. Может быть, красив на деле только замысел судьбы, прочтенный в ее лице? Разве не так? Или нет, и дело только в природе? Или все-таки в том, что ты можешь в ней прочесть? Да, вот так — нужна ли красоте культура? Каким быть должен я, чтобы не угробить ее при касании?

Сева умел думать о таком, меча в рот семечки. В нем не было возвышенности. Это был тон человека, много времени проводящего с самим собой — привыкшего без стеснения формулировать любопытное, но, как правило, неуместное для обсуждения.

Сева снова зашел в автобус, этот был набит гораздо плотнее, зато — длинной «гармошкой». На пути к подвижной центральной части раздался тихий грохот — мужчина зацепил гитару в чехле, которую Сева нес в руке.

2

Гитара — яркая деталь. Да еще в таком чехле. Он шит из серого дерматина с помощью ручной швейной машинки. Таких чехлов не бывает.

Именно заметив гитару, внимательный наблюдатель получает повод задаться вопросом: куда же едет герой? Ведь молодой человек, который садится на остановке у студгородка, почти наверняка студент. А студент всегда едет в университет. Но не с гитарой же. Да и сессия в это время года подходит к концу. Действительно, Севе с позавчерашнего дня ровным счетом нечего делать в университете — он сдал все предметы, будет получать стипендию. То есть он точно едет не в университет. Наблюдатель бы это сразу понял — если бы он был.

Немаловажно и то, что Сева не просто студент, а — из приезжих. Ни по его вполне раздолбанному, но еще

приличным кроссовкам, ни по рубашке с петухами, ни по джинсам, ни тем более по спокойным зеленым глазам этого факта не установить. Он приехал из маленького городка — а люди любого малого городка почти не отличаются от основной массы людей самого большого. В огородах они не работают и коров не доят, а значит, отличительных меток, выдающих чужака, если не совсем идиоты, не имеют. Вот и Сева не колхозник видом — и взгляд на нем не остановится.

Сева окончил второй курс, ему девятнадцать лет. Но где-то была черта, после пересечения которой уже не важно, девятнадцать или двадцать девять. В нем росту за метр восемьдесят пять, вес боксера-тяжеловеса и грудь — видно над второй пуговицей рубашки — волосата. Лицо — широкое, загорелое, с большими губами, мощными бровями и желваками. Было время — в зрелые застойные эпохи, — когда мальчишки в девятнадцать впервые сбрасывали с лица редкие волосенки и наконец замечали, что вся одежда на них куплена мамой. А Сева — ребенок другого времени, в котором детей в этом возрасте уже не бывает. Нет такого наблюдателя, который бы угадал его возраст, а значит — мог бы понять, что именно сейчас делает Сева.

Вот так — выходит, Севе нужен уже не просто выхватывающий его из беспросветности наблюдатель — нужен кто-то, кому было бы интересно знать о нем важные вещи, вдуматься в него. Ничего себе. Запросы личности растут по мере увеличения объемов внутренней работы, проделываемой ею в молчании и мраке.

Предметы — возвращают, особенно не воспаришь. Поручень под ладонью уже мокрый. И это восемь двадцать утра. Жара может не пощадить. Об этом невозможно не думать. Автобус скрипнул дверью — и духоту разбавил порыв снаружи. Совсем не прохладный. Сева понимал, что он неторопливо подъезжает к жаре. Свернули с Советской на Карла Маркса — на улицу, где ему в обычной жизни бывать уже совсем незачем. Он уже вышел за пределы привычного мира — достаточно было проехать на несколько остановок больше. Отчего же, впрочем, на несколько? Сева собирался ехать до конца. Он как будто только вспомнил это — и внутри похолодело, он крепче сжал поручень.

Руки тоже примечательны. Это руки не пианиста, не воина, а — работяги. Мясистые широкие ладони, темноватые — будто недомыты после земли, а земли они не касались уже давно. Просто Сева — плебей.

Куда это ты собрался, плебей?

Сева собрался путешествовать. Он — уже путешествует. Смотрит на второй поселок Орджоникидзе, аэропорт, от которого пятнадцать минут до центра города, — смотрит на все это, как на сопки Манчжурии. Он уже никогда не видел этих мест. И сердце пронзает ледяной страх. Потому что Сева не знает, сможет ли он вернуться. Потому что вокруг уже тот первозданный чужой мир, в котором человеку предстоит все сначала — и невозможно знать, что сил на это хватит.

Он почувствовал, что его пальцы мокры и холодны несмотря на жару. Дверь открылась на остановке. Пожалуйста, сходи — и на твое возвращение почти никто не обратит внимания. Легко отделаешься шуткой, мало ли их было.

Может, и отделался бы — если бы заставлял кто. Двери захлопнулись, осталось три остановки. Стало легче. Страшно — на пороге.

Оказывается, это просто — отправиться в путешествие. Проехать остановку и тем самым вывалиться из обыденности. Сева не умел бояться абстрактных вещей. Он не боялся будущего путешествия, хотя таким, каким он его задумал, его стоило бояться. Больше, чем абстрактное будущее, пугало конкретное настоящее.

С ним — уже давние счеты. Отзывчивый, впечатлительный, простодушный, Сева умел говорить «нет» гораздо лучше, чем «да». Спроси его: «Чего ты хочешь, Сева?» — и он растеряется, попытавшись заглянуть за край девичьей любви, туда, в абстрактный мир будущего. Зато очень хорошо знал, чего не хочет. «Я не полезу в эту черную дыру подвала — оттуда воняет». Вот оно — прямо перед глазами, не абстрактное, не на картинке. «Не надо этого» — он отсекал своим внутренним жестом все новые пространства до тех пор, пока перестал уместаться на оставшемся пятачке. И пятачок этот был настолько мал и жалок, что оставалось родиться последнему отказу, чтобы логическая цепь вытолкнула его из его мира, распространявшегося на полтора метра вокруг его койки в углу общажной комнаты. Он сейчас был на грани полного исчезновения.

Этот последний отказ ковался с зимы, ковался тайком как нечто, что нельзя разделить. Сева как будто прикрыл ладонями кусочек пустоты, чтобы там наконец накопилось отчетливое чувство. Но попробуй покажи его — и ты останешься ни с чем, и все увидят, что у тебя ничего не было, что ты — пустомеля. А это ведь — неверно: слово неточное.

Точнее было бы сказать, что он хотел творить из ничего. Сомкнуть два ковшика ладоней, подождать, пока внутри них согреется воздух и зародится жизнь, и выпустить ее на волю. Он никогда не доводил этого эксперимента до конца, но сейчас чувствовал себя обязанным это сделать — внутри ладоней должен был зародиться он сам.

Но зачем для этого путешествовать?

Всеволод Калабухов знал про это немного. Он знал только, что едет в Санкт-Петербург. И тем самым как бы задавался в его голове невинный и беспроегрешный сценарий травелога. Он как бы ехал за достопримечательностями и баночкой воздуха с Невского.

Но человек, отбывающий в культурную столицу страны, садится на поезд или проходит рамку в аэропорту. А Сева — Сева сел на городской автобус.

Это был особенно удачный маршрут, который появился совсем недавно — через весь центр города в прилегающий Аксай с выездом на федеральную трассу М-4 «Дон». Дальше шли только междугородные автобусы. Сева сошел на остановке около поворота в сторону Аксая. Взглянул на часы: без четверти девять. Посмотрел через дорогу: за жидкой лесополосой поле — такое большое, что Сева отвернулся. Несколько секунд помедлил — и пошел вдоль обочины прочь от города.

3

Он было призадумался: а не дожидаться ли автобуса на Новочеркасск. Или даже до Шахт, которые в шестидесяти километрах. Но нет, решил, это тупик, это только отложит начало. Пусть путешествие начнется прямо сейчас. И оно началось — таким, каким было задумано: почти без денег через всю европейскую часть страны к городу, от которого веяло другой, пока только придумываемой жизнью.

Конечно, он не собирался идти к Балтике пешком, но и ловить машину на остановке посчитал неестественным. И вот Сева впервые обернулся к машинам, наезжающим из-за спины, прищурился от ударившего в глаза солнца и поднял руку.

Чуда не произошло. Синяя «семерка» прошла мимо, метрах в ста подъезжало что-то немецкое. Такое и останавливать страшно. Сева опустил руку и пошел дальше. Нечего стоять и ждать, раз назад дороги нет. Он обернулся: на его глазах увеличивалась серая «девятка». На расстоянии, когда еще не видно лиц, Севе показалось, что он взглянул водителю

прямо в глаза. Он поднял руку, обращаясь лично к нему, он помогал ему мимикой, а губы беззвучно прошептали: «Ну давай», — но тот явно проезжал мимо. Сева усмехнулся, ему стало веселее.

Красиво звучит слово «автостоп» — в нем есть легкость. Сева слышал его от старших соседей с нижних, более престижных этажей общаги. Это слово опытных людей, знающих, какой должна быть униформа: яркие цвета, рюкзак, пришитые к одежде катафоты. У них было свое сообщество, они регулярно собирались на занятия: как собрать рюкзак, что нужно знать, если ты едешь в Грузию, как рассчитать необходимое для поездки количество денег, как вести себя с водителем, если ты девушка... Сева так и не узнал никаких правил. Его не интересовал образ жизни, ему было наплевать на культ дороги и правило большого пальца — он хотел в Питер. Зачем рассчитывать, сколько нужно денег, если больше, чем есть, все равно негде взять? Зачем методика сбора рюкзака, если у него нет рюкзака — и покупать его он точно не будет? Зачем считать водителей идиотами — неужто они без большого пальца не разбирают, почему человек на обочине поднял руку?

А во что одеться, можно и самому сообразить. Он выбрал темно-горчичную сорочку с экзотическими фруктами и пальмами. Выбрал, потому что эта вещь не мнется, а грязи на ней не видно. Хоть помидор на ней раздави, дикого вида не выйдет — это то, что надо. И он в этой рубашке похож то ли на туриста, то ли на художника.

Гитара в чехле одно название — дрова дровами. Но она довершала образ — она должна была сообщить каждому встречному, что человек, несущий музыкальный инструмент через всю страну, не опасен.

Сева сразу отбраковывал машины с двумя и более головами в просвете окон. Но первой остановилась «копейка» с супругами бальзаковского возраста. Он открыл заднюю дверь:

— Вы в сторону Новочека?

— Да.

— Можете подвезти до поворота с трассы?

— Садись.

Ну не Питер же сразу называть. Сева назвал ближайший город, чтобы не пугать. Но сразу уточнил.

— Вы в город заворачиваете?

— Ага.

И не к чему продолжать — все равно дальше искать другого извозчика. Скользнул взглядом по затылкам, которые выглядели как портреты старых знакомых. Супруги из работяг строили планы на день, тут же забыв о пассажире. Сева привычно ощутил себя в большой семье, и даже стало как-то уютно от их народного равнодушия. На заднем сиденье места хватало только на него одного — все остальное было заставлено крупными базарными сумками и каким-то хламом.

За окном тянулись поля, на которые он мог бы и не смотреть, — так хорошо он знал их вид. Их бессобытийностью пропитано подсознание. Если прямо посреди этого бесконечного поля построить несколько многоэтажек, дорогу между ними да школу, получится Волгодонск — город, всего лишь пятьдесят лет назад нарисованный на карте среди голой степи. В эту степь уходили проспекты, на нее смотрели окна пятого этажа. Сева был заперт в той природе — и потому как будто не видел ее, отмечал только, что тут растет, какая культура. Поля стояли тяжелые, через неделю должны начать убирать пшеницу.

Воспитанный матерью, он здесь вырос. Разве не хороша колыбель? — подумалось ему, — разве ты не вышел из нее хорошим человеком? Разве не здесь вложена в тебя простота труда и самоотречения? Так чего ж тебе еще надо? Почему же ты теперь едешь прочь и странна сейчас для тебя даже мысль о слезе прощания? Что это — жестокая несправедливость, история о том, как человек не способен ценить именно то, что имеет, и заходит в этом чувстве слишком далеко? Или он действительно перерос колыбель?

Севе вспомнилась история про то, как он лет в пять собрал кубик Рубика. Родители вернулись со двора — снимали тогда в частном секторе домик с огородным участком, — а сын им показывает то, чего никто из них никогда не мог сделать. Охи, ахи — а потом мама пригляделась: цветные нашлепки отстают. Им все стало ясно: сын собрал одну сторону, а потом старательно переклеил все цветные квадратики, вплоть до полной гармонии. Ну, так каждый может, сказали они. «Не каждый, — позднее думал Сева. — В конце концов, я же его собрал! Я восстановил миропорядок. В мире моих родителей никто и никогда не собирал этого кубика. А я сделал это. Как мог. В пять лет».

О господи! Сева вдруг понял, что на переднем сиденье пассажира сидит его мама. Да, он не видел ее полгода, но это вполне мог быть ее затылок. Ее выкрашенные хной волосы

с годами все более коротки. Сева не видел ее лица, да и не смотрел почти, но время от времени мелькал профиль. В нем он узнавал закрепленное с годами в морщинах выражение постоянного изумления перед миром, который всегда оказывается не таким, как она думала. Сева так уже привык к нему, и вот только сейчас вдруг пришло осознание, что когда-то — во времена кубика Рубика — этого изумления не было.

Он ничего не сказал ей о поездке. Ну как это скажешь — она же волноваться будет. Еще подумает, что она может что-то запретить сыну. Зачем ее искушать? Он оповестил о том, куда отбывает, только двух соседей по комнате в общежитии. Сделал это в последний момент, когда уже не посмеешься с подспудным убеждением, что наутро рассосется. Наутро Сева уехал.

За рулем сидел русоволосый мужчина с обвисшими усами, которому она без остановки что-то говорила:

— ...и она на меня, главное, смотрит — и сыпет мелкие!
О наглёшь!

Водитель усмехнулся так, будто хорошо понимал эту хитрую гадину и даже в глубине души поддерживал ее в желании надуть свою жену.

— Я ей говорю: сыпь обратно, сыпь, а не то я тебе щас это ведро на голову одену!..

Она платила за простодушие своей неспособностью поднять головы над копеечной выгодой. Она считала, что не должна уступать никому ни пяди, потому что это было бы нечестно, — и не замечала, что на эту возню о том, чтобы правильно дали сдачи, уходит вся жизнь. А он вон усмежается: мол, грех такую дуру не дурить. И она понимает то, что он не говорит сейчас, — и готова уже в лепешку разбиться, чтобы доказать, что ее на мякине не проведешь. «Эх, мамуля, а как жить, если не надо никому ничего доказывать?»

«Копейка» завернула, и Сева крикнул: «Мой поворот!» — и правильно, потому что о нем успели позабыть. Он быстро выскользнул, чтобы мама, которой здесь не могло быть, его не заметила.

Придорожная зелень никогда не бывает зеленой — она сера, и этот серый кажется ближе к белизне солнца, чем к цвету чернозема. Защитный цвет, которым пользуются даже выгоревшие растения.

На трассе белый зной.

Пить хочется. Рано пить, оборвал себя Сева и поднял руку. Он поднимает ее минут сорок, за это время прошел по кромке километра три.

Машины все двигали и двигали мимо. Красные, зеленые, синие, черные, побитые, новые, иномарки, свои, мотоциклы с коляской — все проезжали мимо, потому что у них были дела, в которых нет места чужим людям. «А ты думал, тебе сразу красавицы на выбор останавливать начнут? — подзуживал себя Сева. — Раскатал губу. Ты ж хочешь, чтобы они тебя везли бесплатно куда тебе надо. Нашел лохов... Ну давай, дорогой, ты же едешь один, тебе скучно, ты везешь мешок картошки с ростовского рынка, неужто после этого у тебя не выросли потребности? Неужели ты больше никогда ничего не хотел? Неужто я не напоминаю тебе своей одинокой фигурой то, о чем ты только робко подумывал? Посмотри на меня две секунды, ну посмотри, давай — стоп, вот о чем ты сейчас подумал? Давай, василий, давай, отдавай себе отчет быстрее — пока не проехал меня! Прислушайся к себе. Вспомни, как служил во флоте, как видел море. Разве ты не смотрел на него как хозяин, забыв на мгновение о том, что трудовые ладони твои сжимают древко швабры, которая править будет тобой еще многие месяцы? Разве ты не ухватил вот этого счастья, когда один на один — мир, здоровенная штукавина, и ты, обсос? А ты смотришь на него — и глаза твои смеются. А?.. Проехал! Вот же гондон. Ты, может, не понял, что я с гитарой? Что я человек искусства, мать твою. Я ж специально для таких идиотов инструмент через всю Россию пружу...»

Севой владел кураж случайно нашупанного тона. Новая роль человека на обочине как будто подсказывала ему слова, которых раньше не было. Таких речей он не произносил никогда, потому что для них ему не хватало чувства исключительности, заостряемого теперь с каждой проезжающей мимо машиной. И так удобно в сторону от основного пути уводила глубокая колея для исполнителей роли отверженного гения.

Он вдруг осекся. Все эти чужие, но готовые слова, как будто поставленный уже кем-то давно тон, — все смолкло. И он как будто даже остановился. А потом поправил сумку и пошел, молча, не глядя на дорогу, будто даже забыв о ней совсем. Забыв поднимать руку. Он упорно шагал по щебню, набираясь уверенности от самой бессмысленности своего

действия. Он шел так около четверти часа, пока немного не прояснилось.

В принципе, уже можно и попить. Он расстегнул молнию черной сумки, висящей на плече, и вынул литровую пластиковую бутылку с теплой водой из-под крана. Желания пить она не вызывала. Именно такую воду и нужно брать. Еще меньше хочется пить чай без сахара, но Сева обошелся простой хлорированной водой из-под крана.

Содержимое сумки он тщательно продумал. Единственным, что он купил перед отъездом, был атлас автомобильных дорог. В сумке также лежал прозрачный пакет с чистыми трусами и носками, складной нож, две банки кильки в томатном соусе, в кармашке катушка ниток с воткнутой иглой, спички, бутерброды с сыром и салом, записная книжка со всеми адресами и телефонами, небольшой сверток туалетной бумаги, маленькое полотенце, мыло в мыльнице и зубная щетка. В сумке оставалось еще довольно много места. Долго думал, брать ли с собой кофту. Ее точно не придется надевать часто, возможно, не придется вообще. На себе не повезешь — жара, места в сумке займет много, да и подходящей кофты не было — только джинсовый пиджак. А вдруг придется быть ночью в лесу? Сева нашел выход — взял с собой покрывало и сунул его в так подходяще великоватый чехол для гитары. Ее, возможно, тоже не придется доставать. Долго размышлял над зонтом. И пошел на риск — не взял.

Вспомнил, повернулся, поднял руку — и первая же машина притормозила. «В сторону Шахт подбросите?» — «Давай». Даже не успел рассмотреть, что за машина.

Какая-то поношенная иномарка. Сел рядом с водителем и почувствовал себя огромным. За рулем сидел маленький старый мужичинка с большими усами, в которых торчала сигарета. Изящными руками он держал грубое колесо руля.

— А ты откуда добираться? — просто, как пацан из соседнего двора, спросил этот почти уже дедок, не поворачиваясь и не выпуская сигареты.

— Из Ростова.

— Нет, вот что это стучит?

— Где?

— В двигателе. Слушай... Слышишь?.. Вот, сейчас.

— Да.

— Что?

— Стучит.

— Это я слышу. А какого хера там стучит?

— Это вопрос.

— А потому что умник влез! Эта старушка два года бегаёт, я один раз резину сменил. Тьфу-тьфу. У нас просто роман был, жили душа в душу. Нет, прохожу три дня назад техосмотр, отвернулся, так этот мудозвон полез к ней под капот. Я увидел, говорю: дядя, не лапай! Но всё — ядовитый сперматозоид был уже в пути, и старушка закашляла, как только я вышел на трассу. Ну не падла ли?

— Падла, — весело удостоверил Сева, ничего не понимавший во внутренностях автомобиля.

— Эти умники только сидят и ищут, как им, мудакам, нарушить гармонию природы. Если ты в поиске — возьми ведро говна и взбей сметану, это я понимаю. Но если ты суешь свои грязные ублюдочные руки в святая святых, то ты просто мудака.

— Они не знают, где это — святая святых.

Кто это — «они»? Сева подыгрывал, не соображая. «Гармония природы» под капотом? Говно и сметана? Что за дичь у него в башке? Но — весело и неопасно.

— Ото ж... Говорю же... — и он выдал уже порцию отборных ругательств. — А тебе прямо в Шахты?

— Честно говоря, как можно дальше по трассе.

— Я буду в Красный Сулин поворачивать.

— На повороте тогда меня...

— У меня там друг живет, капитан морских судов. Объездил весь мир. Попросил отвезти его в аэропорт. Летит сейчас в Вену, там пересадка — куда-то на Средиземное.

— В ростовский аэропорт из Красного Сулина?

— Да.

— А вы из Ростова?

— Сейчас в Батайске живу.

— То есть вы сначала за ним в Красный Сулин, а потом его в аэропорт?

— Да.

— А чего он — автобусом и электричкой брезгует?

— Да мне несложно. Добился все-таки чего-то человек.

Сева помолчал. Почему-то подмывало. Первый раз видел человека, а было обидно за него так, как будто уже знал про него все. До раздражения уже знал.

— Конечно, добился, — проворчал Сева, глядя в поля. — Не у каждого есть такой товарищ. Может себе позволить попросить старого друга метнуться в другой город, чтобы с комфортом доехать в аэропорт. Видно, что высокого полета человек.

Сейчас теоретически можно было бы и на трассу внепланово сойти, а практически — ни в коем случае. Мужчинка Севу тоже как будто распознал. Дистанция у них сложилась, как у деревенских, за пять минут — как будто уже родня и судить уже друг друга можно. Он уже и Севе как будто был должен — пообещал же довести, несложно же. А Сева еще и не понял, что уже давит, еще казалось, что сейчас откроет ему глаза — и тому станет проще.

— Мне не сложно, — устало повторил человек старым голосом, и после паузы: — У него все-таки жизнь, а я сидел бы сейчас, пиво тянул возле телевизора.

— А семья?

— Нету. Всю жизнь, брат, одни любовницы. Да и те... Лучше всего мне сейчас в дороге. Никто мозги не трахает.

«Брат», блин — да тебе же за полтос, дядька, подумал Сева.

— Да, действительно постукивает.

— Слышишь, да? — оживился он, а у Севы сжалось сердце.

5

Сева шел по пыльной обочине мимо щита со стрелкой налево. Там — забытый богом Красный Сулин — островок большой, но плохо заселенной шахтерской территории. Город — ровесник Ростова, а живет в нем тысяч сорок. В двадцатых годах Сулин — фамилия казачьего полковника — стал Красным. Люди стали там жить из-за запасов антрацита, железной руды и живописных мест. Атаманы не брезговали здесь строить себе имения. Да, Сева вспомнил об этих местах все, что рассказывал о них человек, уже два года спавший с ним комнате на соседней кровати. Антон был отсюда, из семьи бывшего шахтера. Шахту-кормилицу закрыли, потом затопили. Державшийся на идее собственного бытового героизма мужчина сорвался в рыбалку и водку. Героям не место на гражданке. Шкурные, торгашеские девяностые сделали с шахтерами когда-то большого Восточного Донбасса то же самое, что советская власть с казаками. Шахтер всегда, спускаясь в подземелье, знал, что есть шанс остаться там навеки — и хорошо, если сразу завалит или убьет взрывом метана, а то можно же много дней, медленно, от удушья и жажды... Такой шахтер никогда не встанет торговать галантереей — как не встанет и казак. Место их обоих — поближе к смерти. А ближе к смерти на гражданке — водка. Шахтеры еще ждут своего летописца.

В здешних местах города получались из слипающихся станиц, между которыми был вставлен какой-нибудь комбинат; из соединенных в узел асфальтовым пунктиром поселков, которые строились вокруг шахт. Между районами одного города здесь лежат незасеянные поля. У каждого района — свои название, климат, диалект, менталитет. На органичную дореволюционную карту поселений была наброшена стальная, а ныне проржавевшая сеть производственной необходимости. Органика берет свое, но еще не взяла. Пока что она только опутывает травой забвения брошенные остовы цехов — и картину эту пока трудно принять за картину возрождения старого мира. Неумолимая логика грузоперевозок и трудовых отношений связала старый мир бечевками советских дорог, но теперь их почти не видно, выступили наружу неизбывные красоты мест.

Для замыленного взгляда степь скучна. Близ Ростова и южнее, к Краснодару, земля лежит плоско, и взгляду до горизонта не на чем задержаться, кроме лесополос, которые в итоге горизонт и заменяют. Но сотню километров на северо-запад — и степь натывается на широкий хвост Донецкого кряжа, начинает волноваться холмами, трескаться оврагами, ломаться балками. Здесь впервые появилось ощущение путешествия, хотя всего-то сто километров, но заложенная в пейзаже сюжетики мира уже изменилась.

Часть заднего сиденья в вылизанной старой «четверке» отрезали мощные вертикальные планки для каких-то садовых нужд. Сева сидел где-то под этими планками, остальное пространство занимали дети — девочки примерно двенадцати и семи лет. Дети не двигались. Машину вел крупный обстоятельный, в очках, отец семейства. Бледная проглотившая аршин мать смотрела строго перед собой. Никто не произносил ни звука, радио не работало.

Сева обычно издалека видел, набит ли салон, — и даже не пытался, если полон. А дети оставляли большой просвет — и он поднял руку. Когда садился в машину, у него никто ничего не спросил, Сева просто назвал следующий пункт — Каменск. А потом некоторое время ерзал — молчание казалось неестественным. Как нарочно, вспомнилось, что, по канонам автостопа, молчать неприлично — тебя как бы и взяли, чтобы водителю не скучно было одному, чтобы не дремать за рулем. Но через несколько минут Всеволод расслабился. Произнести здесь слово — все равно что громко засмеяться в вековом лесу.

Возникло ощущение, будто он уже давно едет, смотрит в окно, и под ним время от времени меняют машины. И остается только время от времени отвлекаться от пейзажа и не без интереса разглядывать новых попутчиков, чьи отличительные черты, благодаря неизменности кадра и запертому пространству салона, сразу отливались в атмосферу с какими-то особыми, действующими только здесь правилами.

Вдруг появилось ощущение мальчишеской гордости. Вот, он едет в машине по совершенно незнакомому миру. Поездка в машине дает ощущение, что жизненный опыт прирастает. Это осталось из психологии семьи, в которой никогда не было автомобиля. Как хорошо — сидеть здесь, смотреть в бездну незнакомо мира и делать вид, что все как обычно, что ты уже даже не замечаешь этих утомляющих обстоятельств и перемен.

Кто это сидит со мною в машине — дословный народ, которому для счастья не надо ни слова, ни жеста, или прагматики, скряги, которым лишнего движенья без повода жаль? Да, скорее всего, зажиточные мещане. Одеты прилично — сорочки, блузки, — но так, будто они отдыхали на параде.

— Думаешь, хватит этой справки? — вдруг произнесла жена, не поворачивая головы.

Ответа не последовало, но казалось, он должен быть. Сева переводил взгляд с затылка на затылок — и ничего не происходило. Какой тут толстокожий мир.

Не такой уж толстокожий, раз тебя подобрали, правда? Но почему они его подбирают? Может, он думает, что за деньги везет? А может, из обстоятельности. Вон он — едет семьдесят километров в час, такое ощущение — чтобы ничего не пропустить. Почему именно эти люди подвозят? Не кажется ли тебе, Сева, что жизнь складывается из людей, которые тебя случайно подбирают — и тем самым оказываются неслучайными? Вы не выбираете друг друга, вы просто оказываетесь за одной партией, в одной комнате общежития, в одной машине. У вас нет относительно друг друга никаких планов. Вы проводите друг с другом минуты, часы, месяцы, годы — и характер связи между вами почти не меняется. Только в какой-то момент оказывается, что других людей в твоей жизни, в общем, и нет. Но и эти люди — разве они в твоей жизни? Они просто в какой-то момент проживали, крутили баранку рядом. А сейчас и вовсе забавно: они все меня везут — а что делаю я? А я бегу от них, шагаю

через них. Они помогают мне оказаться там, куда никто из них даже не думает двигаться. Справедливо ли это?

— Да, — ответил отец семейства.

Сева успел забыть, на какой вопрос тот сейчас ответил, и некоторое время вспоминал. «Эстонцы, что ли?» — подумал он.

Автомобиль уже въезжал в низину Каменска. Трасса шла через весь город в качестве центральной улицы. С дороги повернули к воротам запертого гаража, и мотор замолчал.

— Большое спасибо! — бодро сказал Сева, вылез из машины и зашагал назад к обочине.

— А ты куда едешь? — спросил его в спину мужчина в роговых, как теперь видно, очках и свежей, но примятой сорочке.

Сева коротко обернулся:

— В Петербург, — и не стал дожидаться реакции, двинулся вдоль трассы к выезду из города.

Некоторое время он чувствовал взгляд на своей спине. Позади как будто что-то происходило — тяжелые механизмы чужой психики зачем-то пытались заново сформировать мнение о случайном попутчике.

6

Семьсот метров по прямой — и нет больше Каменска.

Пока шел, жара придавила. Прошибло потом. Куда-то делся ветер, вокруг ни тени, солнце добросовестно пропекало поверхность. Из степи шел густой травяной дух. Сева утерся рукавом. Он помнил это ощущение. Бабушка брала его лет в шесть-семь собирать землянику. Вместо жужжания машин там жужжали насекомые.

Поле начинается за перекрестком. На той стороне АЗС с какой-то самопальной вывеской. Сева увидел будку туалета и направился туда. К дыре подойти невозможно — загажено, и жара чуть ли не вскипятила это все дело. Даром, что зашел за стену, Сева отливал на природе, копошась взглядом в пожухших, усохших от ветра и солнца сорняках.

Вечная форма жизни. Запылены, пропитаны парами тяжелых металлов, пропахли бензином и высококонцентрированным забродившим говном, вытоптаны ногами и шинами. Но попробуй, домашний мальчик, выкрутить этот жгутистый стебель: большее, что ты сможешь, — оторвать листья. Это невеликая потеря: суть сорняка — будылка, которую можно разрубить, но не уничтожить. Можно спалить, но горит она плохо. Зато она

сильно хочет жить — жить свою вонючую, ни на что не претендующую жизнь. И при этом утром на нее, как и на самые благородные растения, ложится божья роса.

А метров через сто начиналась пшеница. Набежали облака, приглушив накал света, дунул ветер — и Сева пошел до поля без оглядки на машины. Золотистая нива медленно вытекала из-за лесополосы. Уборка вот-вот начнется, колосья уже тяжелые, согбенные. Сева не стал сходить с обочины, а так и смотрел с небольшой насыпи на береговую полосу метрах в пятнадцати, на которую лениво набегали шелестящие волны. Смотрел и думал, что вот такой была красота еще до того, как ее догадались отделить от вещей, сделать ее чем-то самостоятельным. Красота — это вспаханное и засеянное человеком поле, на котором сам по себе вырастает небывалый урожай. Теперь, когда цивилизация была так легко оставлена Севой, эта красота проступила. В городе и близ него слишком много бессилия человеческого мира, застывшего в состоянии разложения. Растрескавшийся асфальт и вывороченные бордюры, плитка, покрывающая не более пятачка перед новым фирменным магазином, а дальше — ничья земля. Много ничьей земли. Она начинается прямо перед порогом и заканчивается у другого порога. Любая низость там может сосуществовать рядом с красотой, и это сосуществование — торжество бессилия. А здесь — засеянное поле. И от него прилив радости, как будто наша футбольная команда выиграла — справилась, присвоила эту ничью землю, сумев ответить своим даром на дар природы.

И ничто никуда не движется. Потому и дорога — одна на весь обозримый мир. Оглянись вокруг, посмотри, сколькими путями пройти нельзя, чтобы не сгинуть, и только по ней, единственной, — можно. Ведь если дорога, значит, кто-то по ней проходил. Но она для нас, оседлых донельзя, — на самый крайний случай. Только для тех, кому жить надоело. Кто вытряхнут из корзинки. Никого на дороге не встретить. Машины не в счет — их скорость выражает только желание быстрее вернуться.

Сева смотрел вокруг — и ему казалось, что он никуда не уезжал. Этот мир был знаком ему с детства. Эта звенящая тишина, в которой слышен лишь процесс твоего старения. Эти пыльные тополя, крениющиеся от ветра на один бок. Редкие люди, глядящие друг на друга мельком за отсутствием интереса. Эти случайные, дающиеся через силу слова, которые, если бы не были просьбой, не произносились бы

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru